

№ 3

[ЗАМЕТКИ О НЕКРАСОВЕ]

Заметки при чтении «Биографических сведений» о Некрасове, помещенных в I томе «Посмертного издания» его «Стихотворений»,

СПБ, 1879¹

Стран. XVIII и XIX.

На стран. XVIII и XIX приведена выписка из воспоминаний Достоевского о Некрасове². Это такой мутный источник, которым не следует пользоваться. Для примера тому, как вздорны рассуждения Достоевского о Некрасове, возьму из выписки полторы строки. Однажды Некрасов стал рассказывать Достоевскому о своем детстве, и в этом рассказе «обрисовался» перед Достоевским «этот загадочный человек самой затаенной стороной своего духа»; а самая затаенная сторона его духа была — то, что его детство оставило в нем грустные воспоминания. — Каким образом это могло быть «затаенною», даже «самой затаенной» стороною духа «загадочного» человека, когда он в стольких лирических пьесах и стольких эпизодах поэм передавал всей русской публике тяжелые впечатления своего детства? — Да и чего было бы таить в них? — Как любил он передавать их публике, точно так же любил и пересказывать их в разговорах. — После этого натурален вопрос: был ли «загадочен» человек, который так таил «самую затаенную сторону своего духа», который столько раз говорил о ней публике и любил подробно рассказывать о ней каждому знакомому, желающему слушать? — Ровно ничего «загадочного» в Некрасове не было. Он был хороший человек с некоторыми слабостями, очень обыкновенными; при своей обыкновенности эти слабости не были нисколько загадочными сами по себе; не было ничего загадочного и в том, почему они развились в нем: общеизвестные факты его жизни очень отчетливо объясняют это. — А если кому-нибудь из его знакомых не ясно было, почему он поступил так, а не иначе в каком-нибудь случае, то надобно было только спросить у него, почему он поступил так, и он отвечал прямо, ясно; я не помню ни одного случая, когда б уклонился от прямодушного объяснения своих мотивов, — ни одного такого случая не было, не то что лишь в разговорах его со мною, но и во всех тех разговорах с другими, какие происходили при мне. Он был человек очень прямодушный.

Стран. XXVII.

Кем была внушена Некрасову мысль поступить в университет? — По рассказу его мне, матерью.

Дело было, по его рассказу мне, так:

Мать хотела, чтоб он был образованным человеком, и говорила ему, что он должен поступить в университет, потому что образо-

ванность приобретается в университете, а не в специальных школах. Но отец не хотел и слышать об этом; он соглашался отпустить Некрасова не иначе, как только для поступления в кадетский корпус. Спорить было бесполезно, мать замолчала. Отец послал Некрасова в Петербург для поступления в кадетский корпус; в Петербург, а не в Москву, потому что в Петербурге у отца был человек, который мог быть полезен успеху просьбы о принятии в корпус (Полозов). Некрасов поехал в Петербург, посланный отцом в кадетский корпус, с письмом об этом Полозову. Но он ехал с намерением поступить не в кадетский корпус, а в университет. Письмо отца к Полозову он не мог не отдать. И пошел отдать. Полозов, прочитав письмо, без всяких расспросов сказал Некрасову, что представит его Ростовцеву. Отказаться было невозможно. Некрасов побоялся и начать разговор о намерении поступить в университет: что сказал бы на это Полозов? — «Мечта, друг, не выдержишь экзамена», — и что мог бы отвечать Некрасов? Он действительно был не подготовлен к экзамену для поступления в университет. Он рассудил, что должен молчать перед Полозовым об университете, пока будет в состоянии сказать, что надеется выдержать экзамен. Промолчав об университете, не имел возможности отказаться от представления Ростовцеву и был представлен. Когда несколько подготовился к экзамену, сказал Полозову о своем намерении.

Итак, употребленное в «Биографич. сведениях» выражение, что «случайная встреча с Глушицким перерешила всю судьбу» Некрасова, и все соответствующее этому выражению в изложении дела о поездке Некрасова в Петербург — ошибочные слова. Если в тех разговорах, по которым написан рассказ «Биограф. сведений», попадались выражения, заставлявшие полагать, что мысль о поступлении в университет внушена была Некрасову Глушицким, это были выражения не достаточно полные; но вероятнее, что мысль о перемене намерения Некрасова вследствие встречи с Глушицким только догадка, порожденная горячим чувством признательности, с каким говорил Некрасов о заботливости Глушицкого доставить ему возможность подготовиться к экзамену. Вероятно, это были разговоры собственно о петербургской жизни Некрасова; потому и попадали в них только отношения к Глушицкому, не попадали воспоминания о разговорах с матерью перед отъездом в Петербург³.

Стран. LXVII и LXVIII.

По перечислении мотивов, из которых могла происходить «мягкость» — то есть снисходительность, доброжелательность — тона рецензий Некрасова, говорится, что кроме этих соображений «мягкость некрасовской критики могла обуславливаться и благодушными чертами его характера»⁴; без сомнения, собственно ими она и «обуславливалась», другие причины если были, то были только очень второстепенными мотивами; главное дело было в том, что Некрасов был человек очень добрый.

Стр. LXX.

В характеристике начинающего 1856 годом «второго периода журнальной деятельности» Некрасова говорится, между прочим, что «умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его». — Дело было не в расширении «умственного и нравственного горизонта поэта», а в том, что цензурные рамки несколько «раздвинулись» и «поэт» получил возможность писать кое о чем из того, о чем прежде нельзя было ему писать. — Когда дошло и до крайнего своего предела расширение цензурных рамок, Некрасов постоянно говорил, что пишет меньше, нежели хочется ему; слагается в мыслях пьеса, но является соображение, что напечатать ее будет нельзя, и он подавляет мысли о ней; это тяжело, это требует времени; а пока они не подавлены, не возникают мысли о других пьесах; и когда они подавлены, чувствуется усталость, отвращение от деятельности, слишком узкой. — Я говорил ему: «если б у меня был поэтический талант, я делал бы не так, я писал бы и без возможности напечатать теперь ли, или хоть через десять лет; писал бы и оставлял бы у себя до поры, когда будет можно напечатать; хотя бы думал, что и не доживу до той поры, все равно: когда жнибудь, хоть после моей смерти, было бы напечатано». — Он отвечал, что его характер не таков, и потому он не может делать так; о чем он думает, что этого невозможно напечатать скоро, над тем он не может работать. — Причина невозможности всегда была — цензурная.

Он был одушевляем на работу желанием быть полезен русскому обществу; потому и нужна ему была для работы надежда, что произведение будет скоро напечатано; если бы он заботился о своей славе, то мог бы работать и с мыслью, что произведение будет напечатано лишь через двадцать, тридцать лет; право на славу заработано созданием пьесы; когда оно будет предъявлено, все равно; даже выгоднее для славы, если оно будет предъявлено через десятки лет: посмертные находки ценятся дороже даваемого поэтом при жизни. Но они служат только славе поэта, а не обществу, вопросы жизни которого уж не те, какие разъясняются посмертною находкою.

Итак, писать без надежды скоро увидеть произведение напечатанным Некрасов не имел влечения. Потому содержание его поэтических произведений сжималось или расширялось соответственно изменениям цензурных условий. Из того, что оно после Крымской войны стало шире прежнего, нимало не следует, что за три, за четыре года до начала ее «умственный и нравственный горизонт» его был менее широк.

Имела ли большое влияние на образ его мыслей перемена в строении массы образованного общества, произведенная Крымской войною? (по выражению «Биогр. сведений», «горизонт» его «раз-

двинулся» отчасти под влиянием этой перемены). Припомним, в чем состояла перемена. Было признано массою общества, что надобно отменить крепостное право, улучшить судопроизводство и провинциальную администрацию, дать некоторый простор печатному слову. Только. Что нового для Некрасова могло быть в этих мыслях, новых для массы образованного общества? — Задолго до Крымской войны они были ясными и твердыми мыслями — только ли того литературного передового круга, в котором жил Некрасов с 1846, если не с 1845 года? — Нет, не этому только кругу они были уж привычны в 1846 году и раньше того; около 1845 они были уже вполне усвоены большинством той части образованного общества, мнения которой рано или поздно приобретают владычество над мыслями другой, более многочисленной части его; вполне усвоены большинством тех людей, которые сами чувствовали разницу таланта между Пушкиным и Бенедиктовым, Шекспиром и Коцебу и т. д., — которые чувствовали эту разницу сами и с голоса которых научились говорить о ней менее развитые образованные люди. — Перемена, произведенная Крымской войною в настроении русского общества, нисколько не была переменою в мыслях той части русской публики, которая до Крымской войны любила Жоржа Занда и Диккенса, она состояла лишь в том, что другая, более многочисленная часть образованного общества, — та, которая любила Александра Дюма, — примкнула к более развитой части по вопросам о русском быте; это и дало возможность развитым людям заговорить громко о надобности преобразований, издавна составлявших предмет их затаенных желаний; поддерживаемые новыми своими многочисленными союзниками, они доставили некоторый простор печати, — и Некрасов, подобно другим передовым деятелям печатного слова, получил возможность расширить содержание своей деятельности; вот этим он действительно обязан «тому сильному движению, которое началось в обществе», — обязан точно так же, как и все талантливые ли, не особенно ли даровитые поэты, беллетристы, драматурги, его сверстники или старшие его, имевшие прогрессивный образ мыслей: всем им можно стало писать кое о чем из того, о чем желали, [но] не могли они писать прежде.

Итак, перемена в настроении большинства многочисленнейшей части образованного общества не «раздвинула умственный и нравственный горизонт» Некрасова, потому что он гораздо раньше этой перемены имел понятия более широкие, нежели какие могли быть внесены в его мысли овладевшими тогда этою частью общества желаниями, не очень широкими, или, вернее сказать, очень узкими; но все-таки это «сильное движение», начавшееся в обществе, имело большое влияние на его поэтическую деятельность: нисколько не «раздвигая» его «умственный и нравственный горизонт», оно раздвинуло внешние ограничения, сжимавшие прежде деятельность его, дало ему возможность писать о том, о чем не дозволялось писать до той поры; это влияние перемены в настроении общества действительно обнаруживалось в содержании поэтических произведе-

ний Некрасова. Но—имели ль на его поэзию какое-нибудь влияние «новые люди, которые окружили его»?

Кто были эти «новые люди»? — Обыкновенно, когда употреблялось это выражение в характеристиках журнала, фактическим (не формальным; по названию редактор был Панаев; но фактическим) редактором которого был Некрасов, то подразумевались я и Добролюбов; только мы двое; в этом смысле, по всей вероятности, должно понимать выражение «новые люди» и здесь.

Хорошо; разберу вопрос о том, имел ли влияние на «умственный и нравственный горизонт» Некрасова я; потом выскажу свое мнение о том, в чем могло состоять влияние сближения с Добролюбовым на мысли Некрасова.

Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно⁵. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него; и по многим вопросам у меня были мысли более определенные, нежели у него. Но если он раньше знакомства со мною не приобрел сведений и не дошел до решений, какие мог бы получить от меня, то лишь потому, что для него, как для поэта, они были не нужны; это были сведения и решения более специальные, нежели какие нужны для поэта и удобны для передачи в поэтических произведениях. Поэзия не допускает технических подробностей, чуждается и такой определенности решений, которая дается техническими подробностями; та точность решений, которая нужна в статьях политического или экономического содержания, противна духу поэзии; слишком узки для поэзии эти точные решения. В поэзии не годится давать градусы и минуты широты и долготы Петербурга; поэзия говорит только, что он лежит на очень далеком севере и что он лежит близ западной границы России. И число жителей Петербурга она не может определить с точностью хотя бы только до десятков тысяч; в поэзии неловко даже сказать «город с населением в 900 000 человек»; это слишком узкая точность; поэзия говорит или «город с населением многих сот тысяч людей» или «с миллионным населением».

Те сведения, которые мог бы получать от меня Некрасов, были непригодны для поэзии. А он был поэт, и мила ему была только поэтическая часть его литературной деятельности. То, что нужно было знать ему, как поэту, он знал до знакомства со мною, отчасти не хуже, отчасти лучше меня.

Но в числе тех мыслей, которые мог он слышать от меня и которых не имел до знакомства со мною, находились и широкие, способные или быть предметами поэтической разработки, или по крайней мере давать окраску поэтическим произведениям? — Были. Воспринял ли их от меня Некрасов? — Покажу это на двух примерах.

Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их

друзья). Я и теперь полагаю, что Мегмет-Али не был полезен для Египта. Не считаю полезной для Турции деятельность Махмуда II. В те времена я не судил о них мягче, нежели теперь. — Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большое влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал⁶.

Я имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати. Случалось ли мне высказывать его Некрасову? Без сомнения, случалось нередко.

Итак, Некрасову должно было быть задолго до печатного объявления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготовлявшемся решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела?

Мне следовало полагать: да, мое мнение об этом деле известно Некрасову.

Прекрасно. И вот факт.

В тот день, когда было обнародовано решение дела, я вхожу утром в спальную Некрасова. Он, по обыкновению, пил чай в постели. Он был, разумеется, еще один; кроме меня редко кто приходил так (по его распределению времени) рано. Для того я и приходил в это время, чтобы не было мешающих говорить о журнальных делах. — Итак, я вхожу. Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него. Руки лежат вдоль тела. В правой руке тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице выражение печали. Глаза потуплены в грудь. При моем входе он встрепенулся, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она!» — Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это». — «Нет, этого я не ожидал», отвечал он, и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения.

Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему. Я был тогда несколько удивлен, увидев, что решение, полученное крестьянским делом, произвело на него впечатление неожиданности. Но я дивился совершенно напрасно. То, что казалось мне важно в готовившемся решении дела, не интересовало его: это были технические подробности, подвергавшиеся обработке оди-

за другою; каждая из них, как особый предмет молвы, могла представляться не очень важною частью целого; а он думал лишь о целом и не обращал внимания на мои мысли об этих специальных, повидимому мелочных подробностях; они исчезали для него в общем представлении «освобождения крестьян с землею». Мои статьи, мои разговоры скользили мимо его мыслей, и когда оказалось наконец, что такое сложилось из этих технических подробностей, результат вышел для него неожиданностью.

Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей. Имел ли какое-нибудь Добролюбов? Как мог иметь он, когда не имел я? Его сближение с Некрасовым началось только по возвращении Некрасова из-за границы, в 1857 году; гораздо позднее моего сближения (трем с половиною или почти четырьмя годами); все, что мог бы узнать Некрасов от Добролюбова, он более трех лет слышал от меня; все, потому что если была какая-нибудь разница в мыслях между мною и Добролюбовым, она была ничтожна с той точки зрения, с какой смотрел на вопросы Некрасов.

Любовь к Добролюбову могла освежать сердце Некрасова; и я полагаю, освежала. Но это совсем иное дело, не расширение «умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады. Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы. За десять лет до знакомства с Добролюбовым подобное благотворное влияние имело на Некрасова знакомство с тою женщиною, которая была предметом многих его лирических пьес⁷.

Перехожу к следующим строкам характеристики «второго периода» деятельности Некрасова.

В чем же состояло расширение «умственного и нравственного горизонта поэта»? — В том, поясняют «Биографические сведения», что «прежние идеалы» его «оттеснились» «новыми». Как Белинский не любил, чтоб ему напоминали о его статьях в роде «Бородинской годовщины» или «Менцеля», так и Некрасов «неохотно потом вспоминал о грехах своей молодости в роде «Трех стран света», — говорится в «Биограф. сведениях»⁸. Действительно ли он «неохотно вспоминал» о «Трех странах света»? — Это замечание произошло вероятно из недоразумения. Некрасов был не охотник говорить о своих произведениях. Вероятно, ему случилось устранить вопрос о «Трех странах света» выражением недостатка охоты говорить об этом романе; человеку, не знавшему, что он не любит рассуждать ни о каких своих произведениях, могло показаться, что он не любит говорить собственно об этом романе.

Главною причиною его неохоты говорить о своих произведениях была скромность. Он был очень скромный человек. Другая — второстепенная — причина состояла в том, что он слишком хорошо знал по опыту, как скучна и смешна для слушателя слабость большинства беллетристов и поэтов разглагольствовать о своих произведениях. Человек с сильной волей, он легко удерживался от этой слабости.

«Три страны света» и другие прежние слабые произведения Некрасова («грехи его молодости» по выражению «Биограф. сведений») вовсе не находятся в таком отношении к последующим его произведениям, как статьи Белинского о «Бородинской годовщине» и «Менцеле» к позднейшим статьям. Белинский выражал в тех прежних статьях мысли, которые после стали казаться ему ошибочны, дурны, ненавистны. В «Трех странах света» нет ничего такого, что казалось бы впоследствии Некрасову дурным с нравственной или общественной точки зрения. И, сколько мне помнится, там и не было ничего такого. В анализе этого романа, даваемом «Биограф. сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне, она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и обо-всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения, хоть и внушаемые «любовью к народу», вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хотя и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа⁹.

«Биографич. сведения» продолжают: прежде (до 1856 года) у Некрасова был только «горячий, но крайне неопределенный протест против рабства и угнетения» — если протест был неопределенным, то [по] недостатку ль определенности в мыслях Некрасова или по цензурной невозможности писать определенное? — припомним тогдашние цензурные условия, и не будет ровно никакой надобности пускаться в предположения о расширении умственного и нравственного горизонта Некрасова для объяснения тому обстоятельству, что как только несколько пораздвинулись цензурные рамки, он стал писать то, чего не дозволялось писать прежде, и стал «певцом народного горя», — певцом которого был он и прежде, насколько то было возможно.

Он и прежде писал произведения одинаковые по мысли с теми, за которые «Биограф. сведения» называют его «певцом народного горя». Приведу заглавия некоторых из пьес этого содержания, написанных раньше (до начала и движения в обществе и сближения со мною).

1846. Тройка.

1848. Вино.

1850. Проводы. (Вторая пьеса в ряду соединенных общим заглавием «На улице».)

1853. В деревне.

1853. Отрывки из путевых заметок графа Гаранского.

Пьесы «В деревне» и «Отрывки из записок Гаранского» написаны Некрасовым тоже не только до начала «сильного движе-

ния в обществе», но и до сближения со мною; которое началось только с 1854 года; я стал бывать у Некрасова несколько раньше, во второй половине 1853 года; но сближение началось лишь в 1854 году.

Стран. XXVIII.

В начале выписки из рассказа доктора Белоголового¹⁰ о болезни Некрасова находится выражение: «При всей скрытности своего характера и необыкновенном умении владеть собою» (Некрасов не мог не выражать, что проявления симпатии общества к нему трогают его). — Очень большое умение владеть собою действительно было у Некрасова. Но «скрытен» он не был. Он только не был охотник говорить о себе, отчасти по скромности (это главное), отчасти потому, что знал из собственного опыта, как скучно и утомительно и смешно слушать охотников много толковать о себе; он не хотел быть скучным и смешным. Но когда видел, что человек желает слушать, то говорил с полной откровенностью, лишь бы человек, желающий слушать, казался ему заслуживающим его откровенность.

Заметки при просмотре «Примечаний» (к стихотворениям Некрасова), помещенных в IV томе «Посмертного издания» его стихотворений,

СПБ. 1879

Стран. XXXV, XXXVI.

По поводу «Отрывков из путевых записок графа Гаранского» «Примечания» говорят: «Несмотря на примечание автора» (цитирующего заглавие французской книги графа Гаранского), «едва ли можно сомневаться в том, что это — оригинальная пьеса, а не перевод». Еще бы, сомневаться в этом. Но для полного убеждения охотников до подобных выражений, «едва ли можно» и т. д., когда и толковать тут было б не о чем, если бы не было употреблено кем-нибудь такое выражение, скажу, что перевод заглавия книги Гаранского на французский язык Некрасов поручил сделать мне; у него оно было написано по-русски; я сделал, но сказал, что я не умею писать по-французски, потому надобно показать мой перевод знающему хорошо французский язык; вероятно будет надобно поправить что-нибудь; через несколько времени вошел Тургенев, мы показали, он поправил.

Стран. XLVI.

Примечание к пьесе:

«Тяжелый крест достался ей на долю».

«Содержание, повидимому, имеет ближайшее отношение к поэме «Мать». — Ровно никакого; дело идет о совершенно иной женщине, о той, любовь к которой была темой стольких лирических пьес Некрасова.

Вообще по поводу «Примечаний» должно пожалеть о претензии составителя их поправлять стихи Некрасова, кажущиеся ему неправильными. Напрасно он испортил текст своими поправками. — Обыкновенный повод к поправкам подает ему «неправильность размера»; а на самом деле размер стиха, поправляемого им, правилен. Дело в том, что Некрасов иногда вставляет двусложную стопу в стих пьесы, писанной трехсложными стопами; когда это делается так, как делает Некрасов, то не составляет неправильно-сти.

Приведу один пример. В «Песне странника» (в «Коробейниках») Некрасов написал:

«Уж я в третью: мужик! Что ты бабу бьешь?»

В «Посмертном издании» стих поправлен

... Что ты бабу-то бьешь?

Некрасов не по недосмотру, а преднамеренно сделал последнюю стопу стиха двусложною; это дает особенную силу выражению. — Поправка портит стих.

Так и в других случаях.

Автор «Примечаний» делает две-три заметки о неверности выражений (например, о том, что нельзя сказать «женщина входила на Афонские высоты», потому что женщинам воспрещен вход в афонские монастыри). В этих двух-трех случаях он быть может прав; но следовало ограничиться заметкой о неправильности выражения, а не поправлять стих. — Впрочем, что касается «Афонских высот», то надобно было бы справиться, нет ли на перешейке Афонского мыса за стеною, отделяющею монастырь от северной части полуострова, каких-нибудь монастырей, церквей или вообще мест поклонения, доступных женщинам.

Заметка к «Своду статей о Некрасове», помещенному в том же (IV) томе

На стр. CLXXV говорится, что помещенное в «Современнике» за 1856 год, в томе LXX, на страницах 1—12 (по нумерации библиографического отдела) «Краткое известие о выходе собрания стихотворений» (Некрасова) с выпиской некоторых пьес — «статья самого Некрасова»; нет, эта статья написана мною, и пьесы, приведенные в ней, выбраны для помещения в ней мною¹¹.

Это дело моей неопытности и несообразительности имело чрезвычайно тяжелое влияние и на «Современник» и на судьбу «Стихотворений Некрасова».

Перед отъездом за границу Некрасов приготовил собрание своих стихотворений к изданию; но книга вышла уж по его отъезде. Я уж заведывал тогда библиографическим отделом «Современника».

и рассудил, извещая о выходе издания стихотворений, взять и перепечатать три стихотворения; это были:

Поэт и гражданин;

Отрывки из записок графа Гаранского, и — какое было третье, я не умею припомнить сам; но в «Примечаниях» (стр. XLV) говорится, что «Забывшая деревня» была перепечатана в той статье; итак, третьим из перепечатанных там стихотворений была, как вижу, эта пьеса.

Вслед за выходом книжки «Современника» с этою безрассудною перепечаткою поднялась буря и против журнала и против книги «Стихотворений Некрасова». Она была поднята собственно перепечаткою «Поэта и гражданина» и двух других пьес в «Современнике»; и в особенности перепечаткою «Поэта и гражданина». Я старался убедить себя, что она поднялась бы и без того, что она произведена не перепечаткою, которую сделал я, а самою книгою «Стихотворений». Но принужден был отбросить из мыслей это вздорное оправдание своему поступку. Дело произошло исключительно по поводу появления в «Современнике» перепечатанных мною пьес. Книга «Стихотворений» не попала бы в руки тех любителей и любительниц сплетен, которые подняли шум и заставили официальный круг удовлетворить их требованию. Это были какие-то — я не помню теперь имен — пожилые великосветские люди, совершенно посторонние цензурному ведомству и полицейским учреждениям, контролировавшим цензурное ведомство. Они выписывали журналы, в том числе «Современник», но русских книг не покупали. Книга «Стихотворений Некрасова» если бы попала когда-нибудь в их руки, то очень не скоро, и цензура могла бы отвечать на их шум, что он неоснователен, что книга уж давно в обращении, и вредных следствий от того никаких не произошло; и контролирующее цензуру ведомство имело бы возможность подтвердить, что это так. Оно подтвердило бы, потому что, подобно всякому другому ведомству, не любило принимать назиданий от людей, не имеющих формального права делать ему выговоры. Но оно не могло дать отпора им, потому что не было единственного возможного отпора: «Это уж давно в руках публики, и время оправдало нашу мысль, что от этого не будет вреда». — Итак, причиною бури было исключительно то, что я перепечатал в «Современнике» те три пьесы, и в частности перепечатка пьесы «Поэт и гражданин».

Беда, которую я навлек на «Современник» этою перепечаткою, была очень тяжела и продолжительна. Цензура очень долго оставалась в необходимости давить «Современник», — года три, это наименьшее; а вернее будет думать, что вся дальнейшая судьба «Современника» шла под возбужденным моею перепечаткою впечатлением необходимости цензурного давления на него. — Мое сотрудничество принесло много пользы «Современнику», в том нет спора; но я не знаю, уравновесился ли этою пользою тот вред, который нанес я ему безрассудною перепечаткою «Поэта и гражданина».

О том, какой вред нанес я этим безрассудством лично Некрасову, нечего и толковать: известно, что целые четыре года цензура оставалась лишена возможности дозволить второе издание его «Стихотворений»; оставалась бы лишена и дольше, если бы по счастью не принял на себя заботу о разрешении цензуры этого дозволения граф Адлерберг, граф А. В. А., о котором говорится на стран. LXXII «Биограф. сведений».

Когда я написал Некрасову (бывшему за границу) о буре, постигшей «Современник», в ответ я получил только выражение, что это очень жаль, но — никакого упрека мне.

Как назвать это, если не великодушием?

Когда он возвратился из-за границы, я при первой встрече стал говорить о том, что моя ошибка очень много повредила «Современнику»; он сказал добродушно, без малейшей досады: «Да, конечно, эта была ошибка; вы не догадались подумать, что если я не поместил «Поэта и гражданина» в «Современнике», то значит находил это неудобным» — и, сказав это, он стал говорить о другом, а после того ни разу не напоминал мне ошибку, сделанную мною тогда; ни разу.

Случалось мне и после делать ошибки, наносившие тяжелый вред «Современнику»; никогда не слышал я от Некрасова никакого упрека ни за одну из них. — Наконец, издание «Современника» было приостановлено. Из-за кого? — Исключительно из-за меня¹². Я не услышал от Некрасова ничего подобного упреку и после этого удара, полученного журналом из-за меня.

Он был великодушный человек сильного характера.

Прибавлю к прежним заметкам еще две.

1) Для всех очевидно, что в пьесе

«На Волге (Детство Валежникова)»

есть личные воспоминания Некрасова о его детстве. — Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им, ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. — Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенною точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нисколько не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо

«а кабы умереть к утру, так было б еще лучше», — в пьесе сказано:

А кабы к утру умереть,
Так лучше было бы еще;

только такими пятью, шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне. Когда я читал пьесу в первый раз, у меня в памяти еще были совершенно тверды слова, слышанные мною.

2) О пьесе

«Размышления у парадного подъезда»
могу сказать, что картина

«Созерцающая, как солнце пурпурное
Погружается в море лазурное» и т. д.

— живое воспоминание о том, как дряхлый русский грелся в коляске на солнце «под пленительным небом» Южной Италии (не Сицилии). Фамилия этого старика — граф Чернышев.

Вторая заметка:

в конце пьесы есть стих, напечатанный Некрасовым в таком виде:

«Иль, судеб повинуюсь закону», —

этот напечатанный стих лишь замена другому, который когда-нибудь услышишь от меня, мой милый друг, если он не попал до сих пор в печать¹³.

«Предисловие» издательницы¹⁴ должно быть перепечатываемо при всех будущих изданиях стихотворений Некрасова. Оно достойно того. И оно незаменимо никаким другим.

На заглавном листе не выставлено имя издательницы. И под предисловием нет ее имени. В предисловии неизбежно было ей упомянуть о себе, кто же она. И она сказала о себе, что она «сестра покойного»; только.

Ясно, каков был характер Анны Алексеевны Буткевич. Действительно, она была женщина чрезвычайно скромная. Можно было десятки раз вести при ней разговоры о литературных делах с Николаем Алексеевичем и не услышать от нее ни одного слова, относящегося к содержанию этих разговоров; до такой степени была она чужда желанию выказывать свой ум и свою начитанность.

Предисловие свое начинает она тем, что приводит слова, которыми Некрасов мотивировал и высказывал желание, чтобы по его смерти не были вносимы в собрания его стихотворений те пьесы или части пьес, которые, по его желанию, не должны быть вносимы.

Желание было разумно. И Анна Алексеевна заслуживает безусловно похвалы за то, что «сочла своею обязанностью свято исполнить» эту «волю» своего брата.

«Незадолго до своей смерти он, повидимому, был занят мыслью приготовить текст нового издания», — продолжает она: — «После него сохранился экземпляр, который [он] перечитывал, исправляя». Действительно, нельзя сомневаться: то было приготовление нового издания.